
Александр ЮДИН

ЧУДЬ-ГОРА

Рассказ

Несколько лет тому назад автору этих строк довелось работать в архиве городской библиотеки города Чухломы. И вот там, среди залежей совсем ветхих изданий и старых документов мне на глаза попала зеленая папка с тесемочками, а в ней — кипа исписанных листов.

Листочки были желтые, в «лисыих» пятнах, а рукописный текст — с ятями, ерами, фитами да ижицами, то бишь писан очевидно до орфографической реформы восемнадцатого года. Я, понятно, заинтересовался, стал читать. И что же? Хотя начало рукописи отсутствовало — думаю, был утрачен лишь самый первый лист, — по всем приметам выходило, что эти листки — неизвестное письмо писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского, адресованное Владимиру Ивановичу Далю.

Как известно, чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Павел Иванович Мельников, он же — писатель Андрей Печерский, автор эпической дилогии «В лесах» и «На горах», был коротко знаком с создателем «Толкового словаря живого великорусского языка» и даже три года жил в его московском доме на Большой Грузинской. А впервые познакомились они еще в Нижнем Новгороде.

По ходу чтения я пришел к выводу, что, судя по многочисленным поправкам и пометкам, мне в руки попал черновик. Само же письмо, как мне думается, так никогда и не дошло до адресата. Черновик датирован не был, но поскольку речь в бумагах шла об изыскательской поездке Мельникова-Печерского в эти места по поручению тогдашнего министра внутренних дел Тимашева, мне без особого труда удалось установить, что описываемые автором события относятся к лету 1869 года. Хотя само письмо писалось спустя год после той поездки. А возможно, и позже. Содержание этого неотправленного письма настолько поразило мое воображение, что... Впрочем, лучше прочтите его сами, вот оно.

* * *

...Всей душой надеюсь, что и вы, любезный мой Владимир Иванович, в столь же добром здравии ныне пребываете. Но вернемся к приключившейся со мною поистине диковинной истории. И хотя в прожитом времени много было мною видано, много слышано и немало такого знаемо, что весьма немногими знаемо, эта история стоит особняком в силу ее особенной удивительности. При всем том смею вас уверить в ее полной правдивости. Во всяком случае рассказ мой коснется лишь тех событий, которые сам видел и про которые сам слышал. А как вам, Владимир Иванович, ведомо,

Александр Валентинович Юдин родился в 1965 году, публиковался в журналах «Нева», «Изящная словесность», «Полдень XXI век», «Полдень» (СПб.), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Бельские просторы» (Уфа), «Север» (Петрозаводск), «Сура» (Пенза), «Нижний Новгород» и др. Автор трех романов. Живет в Москве.

Бог дал мне хорошую память, и где я ни был бы, что ни видел, что ни слышал, все твердо помню. И когда вздумается мне про то писать — пишу по памяти, как по грамоте, согласно старинному присловию. Коли изложение мое не стройно окажется — простите покорно, но представляя, что стало мне известно, не смею позволить себе для большей стройности изложения что-либо переиначивать. Так вот, продолжаю.

Из Нижнего я выехал двадцать первого июня вместе с моим старинным приятелем Константином Николаевичем Бестужевым-Рюминым. Вам он также хорошо известен. Помните, в свое время вы весьма высоко оценили его статью о современном состоянии русской исторической науки в «Московском обозрении» за 59 год?

Пропускаю дальнейшие не относящиеся к моей истории события и перехожу... *(Это неоконченное предложение было зачеркнуто.)* Когда мы с ним были в Урене, у самой границы Вятской и Костромской губерний, на постоялый двор, где мы остановились на ночлег, прискакал посыльный с запиской от капитан-исправника Чухломского уезда Ивана Андреевича Кокорина. В той записке исправник писал, адресуясь ко мне, что, как ему стало известно, что я нахожусь здесь по прямому указанию Александра Егоровича Тимашева с поручением провести изыскания о состоянии дел в северных губерниях, так он настоятельно просит посетить его уезд, поскольку-де в одной из деревень Алешковской волости творятся большие непорядки: завелись там, якобы, некие сектаторы — не раскольники и не хлысты, коими в Заволжье никого не удивишь, а какая-то вовсе неслыханная секта; и творят те сектаторы всякие безобразия и даже похищают для своих ритуальных целей местных девок. А продолжается-де это уж неведомо сколько лет — издавна, только прежнее полицейское начальство это все под сукно прятало, а он — Кокорин Иван Андреевич, хочет оное непотребство вытащить на свет божий и пресечь. Но человек он на должности новый, опыта не достает, при этом немало наслышан о моих прежних успехах в борьбе с расколом и ересями, о ревностном исполнении служебного долга и неумолимой суровости, с каковой я приводил в единоверие керженские и чернораменские скиты, а потому обращается ко мне с просьбой оказать помощь и содействие в расследовании, дабы изболбить фанатиков-изуверов, привлечь их *(следующие два слова были вымараны)* и прочая.

После ознакомления с сей запиской, мне на память поневоле пришел рассказ (весьма недурной кстати, а вот название позабыл) Алексея Феофилактовича Писемского, пропечатанный лет пятнадцать или более назад в «Современнике». В нем тоже ведется речь о таинственных пропажах девок, приписываемых народной молвою лешему. Причем действие, помнится, разворачивалось именно что в Чухломском уезде! На поверку же разъяснилось, что все это пустяки и виновник пропаж не в меру сластолюбивый барский управитель. Итак, изначально достоверность полученных сведений вызвала у меня серьезные сомнения. Тем не менее, я тут же собрался и немедленно выехал. Константина же Николаича оставил за себя в Урене.

И вы меня, Владимир Иванович, знаете: мог ли я устоять, услышав про неведомую и дотоле неизвестную мне секту? Да и вправе ли я был исключать возможность существования оной? Уж с какими нелепыми, небывальными и изуверскими сектаторами не доводилось мне сталкиваться за годы службы! Чего стоят те же хлысты или скопцы, я уж не говорю про морельщиков, детоубивателей, самосжигателей, шелапунов и многих-многих других, обитавших и донныне обитающих в Брынских лесах нижегородского и костромского Заволжья. Признаться, польстило мне и сделанное исправником упоминание о прежних моих заслугах и победах. Хотя заслуги те далеко не всем пришлось по нутру. Керженские беглопоповцы, к примеру, иначе как «сыном пагубы, отступником Христовым» меня не именуют, говорят, что я-де знаком с чертями и при моем появлении гаснут свечи. В тех местах по сию пору ходит про меня одна легенда: дескать, когда я ночью увозил из Шарпана икону Казанской Богородицы —

великую их шарпанскую святыню, то на плотине у речки Белой Санохты, под Зиновьевом, вдруг ослеп. И хотел, устранившись, тут же бросить ту икону в реку, но дьявольским наущением отвращен был от этого; зато потом мне от дьявола же зрение возвернулось. Вот ведь оно как! Вам ли, друг мой, не знать какая это сущая ерунда, сколь далеко это от истины. Да, я всегда был и остаюсь врагом религиозного фанатизма, аскезы и начетничества (*оба последующих предложения автор перечеркнул*). Впрочем, я, кажется, вновь вдался во многоглаголение, а по сему спешу вернуться к предмету настоящего письма.

Опуская подробности поездки, перехожу сразу к встрече с исправником Иваном Андреевичем Кокориным, каковая состоялась в назначенном им месте — в деревне Филино Алешковской волости Чухломского уезда. Иван Андреевич оказался мужчиной в летах, но помоложе меня — лет этак сорока с гаком, представительной наружности и статного сложения. Он с первого погляда произвел на меня самое благоприятное впечатление: в прошлом боевой офицер, участник трагической для нас Крымской войны, на груди — медали за оборону Севастополя и за усмирение недавнего польского мятежа (последняя — из светлой бронзы — порадовала меня особенно), значит, побывал в переделках; речь обстоятельная, манеры исполнены достоинства. В общем и по всему, человек на этой должности не случайный. В становой квартире, где ожидал меня капитан-исправник, присутствовали помимо него также местный преподобный — тонкий да звонкий, седой как лунь старец с козлиной (последнее слово вычеркнуто) с жидкой бороденкой, какие обыкновенно изображают у китайских мандаринов; еще дюжий рябой детина с отечным лицом и востроглазый мужик лет тридцати с кудрявой русой шевелюрой.

— Имею честь представиться: чухломской земский исправник Кокорин Иван Андреевич, — отрекомендовался исправник. — Спасибо, Павел Иванович, что не оставили мою просьбу без внимания. Это вот, — исправник указал на преподобного, — отец Зосима, священник церкви Ильи Пророка села Верхняя Пустынь, он здесь на правах старожилы, хранителя, так сказать, преданий старины глубокой, ну и от духовных властей. А эти господа, — кивнул он на остальных, — представители уездной полиции, которые, так сказать, сопричастны и, гм... будут полезны. Вот здешний хозяин — становой пристав...

— Степан Звонов, — просипел рябой детина, распространяя вокруг злой водочный дух. И зачем-то добавил: — Не имеющий чина, из чухломских мещан.

— А этот вот, сотский Ефим Турусов. Он местный, филинский и сможет засвидетельствовать, поскольку все, так сказать, на его глазах...

— Точно так-с, вашбродь, — потрянув кудрями, подтвердил сотский.

Перезнакомившись таким образом, мы сели чаевничать. Стол уж был накрыт.

— Ну что же, Иван Андреевич, рассказывайте, какая такая диковинная секта у вас завелась, — спросил я исправника, — которая девок уводит. Между прочим, личность последней похищенной известна?

— Известна, Павел Иванович, как неизвестна, — несколько смущенно подтвердил исправник. — Впрочем, полагаю, правильнее, если про нее вам расскажет пристав Звонов, как лицо изначально владеющее всеми, так сказать, деталями... Докладывай, Степан!

— Слушаюсь, ваше высокобродие! — вскочил пристав.

— Ты, Степан, чаю что ли похлебай, — поморщился исправник, — а то несет, как из бочки. Нехорошо, братец, право нехорошо.

— Чай нам не по нутру, — пробурчал пристав, переминаясь с ноги на ногу.

— Известно! Было бы винцо поутру. Тогда пожуй чего-нибудь, вон хоть баранку. И садись, не на плацу же.

— Да, давайте без церемоний,— поддержал я. — Время дорого — пропал человек, а мы политесы разводим.

Пристав послушно пихнул в рот баранку и продолжил с набитым ртом:

— Пропавшую зовут Настасьей Теляевой, девка неполных семнадцати лет, тутошняя она, филиновская. Пропала четверо суток назад. Сегодня только сыскалась...

— Как сыскалась? — не понял я.

— Сама воротилась, — пояснил пристав.

— Стало быть и пропажи никакой нет? Может, и с сектой та же история?

— Так ить она не целая воротилась.

— Что значит «не целая»? Надругались что ль над нею?

— Про это самое ничего не знаю, поскольку девка не в себе сделалась, полоумная. А не целая потому как у ней три пальца — мизинец, средний и безымянный — на правой руке напрочь откушены.

— Откуда известно, что именно откушены? — уточнил я. — Может, отхватила серпом, топором оттыпала или еще как?

— Таково заключение земского доктора Колокольского, который осмотрел ее по моей просьбе, — вставил исправник.

— Сама-то как объясняет? — спросил я.

— Говорю ж, вашбродь, не в уме девка. Бормочет что-то про «чудь белоглазую», которая ее в Чудь-гору утащила, и там, в той Чудь-горе, двое суток держала. А она отшель как-то сама сбегла, а после еще двое ден плутала по лесу, ягодой да грибами питалась, покудова не вышла к соседней деревне Чурилово. Еще бает про чудского божка Кузю, которому-де ее в жены там уготовили.

— Вы же понимаете, Павел Иванович, — вновь вступил в разговор исправник, — что не стал бы я вас беспокоить из-за какой-то пропавшей девки. Не столичному же начальству эдакими делами заниматься. Тут важно, что не первая она такая. Как я вам и писал, тут действует стародавняя и притом тайная секта.

— Давайте по порядку и с самого начала, а то мы этак до сути никогда не доберемся, — предложил я.

— По порядку вернее, — согласился исправник. — Тогда предлагаю следующий порядок: пускай сначала пристав Звонов изложит обстоятельства нынешнего похищения Настасьи Теляевой, а сотский Ефим дополнит, как и отчего. А после того отец Зосима расскажет, что в здешних местах известно про секту (или кто там эти лешие?), пояснит, так сказать, предысторию вопроса. Я же со своей стороны представлю обстоятельства, ставшие мне известными по ходу следствия.

— Давайте так, — согласился я. — Только я хочу после сам ту Настасью допросить.

На том и порешили.

(Далее был густо вымаран целый абзац; я не стал его разбирать, а перешел к следующему.)

Но я уже вижу, Владимир Иванович, что письмо мое стремительно превращается в беллетристический рассказ и едва ли не в духе Эдгара Поэ, а посему, дабы не затягивать повествования, изложу своими словами содержание дальнейшей беседы, а также того, что поведала мне девица Настасья, которую я допросил в тот же день.

Со слов пристава Звонова и сотского Ефима выходило, что Настасья Теляева пропала с 23 на 24 июня, аккурат в ночь на Иванов день. Вы, Владимир Иванович, знаете, что купальскую ночь во многих местностях Заволжья по сию пору празднуют, несмотря на очевидно языческий характер этого праздника. Как ни старалась церковность истребить всякие остатки языческой обрядности, много обломков древней старорусской веры доселе сохраняется в нашем простонародье. Вот и Настасья отправилась на закате с подружками на речку Вексу жечь костер, купальные травы да банные ве-

ники собирать, ну и в Вексе купаться, понятное дело. Пошла, а назад не вернулась. Подружки божились, что была она с ними до последнего; и они только тогда ее хватились, как засобирались по домам; искали и кликали до самых петухов, потом вернулись с мужиками, но все попусту — Настя как в воду канула. Да только в той речке Вексе не утонуть — больно мелка и омутов рядом нет. Думали разное: заплутала в лесу, лихого человека встретила, а то мог медведь заломать, в чухломских лесах их пропасть.

А утром, в день моего приезда, ее бесчувственной нашел пастух, в березняке у поля, что возле деревни Чурилово, в пятнадцати верстах от Филино. Вместо сарафана на ней дерюга драная, сама с ног до головы исцарапана, точно через ежевичные кусты напрямки ломилась, и трех перстов на правой руке не хватает. Уже дома — а жила она без матери, со вдовым отцом, мужиком непутным, запойным, который даже и в поисках дочери не участвовал, а все дни провалялся пьяным — маленько почувствовавшись, Настасья поведала, что когда она с другими деревенскими девками купальные травы собирала, позвал ее из лесу, из-за сосенки, некий голос, ласковый такой, шепотливый, вроде женского, по имени позвал: «Подь-ка сюды, Настасьюшка, подь, голуба-душа, глянь-кось, чего у меня есть для тебя». Девка сначала поостереглась, хотела подружек кликнуть, а голос снова: «Ты только не говори никому: у меня от матушки твоей гостинец, как помирала, горемычная, наказала передать тебе на Иванов день, во купальску ночь». Осмотрелась Настасья: костер весело горит, потрескивает, луна, от реки отражаясь, ярко светит, вокруг видать все, ровно белым днем, да и подружки вот они, рядом, в речке плещутся, песни поют. Чего бояться? Она и зашла за сосенку-то. Зашла, глядь, никакой женщины там и нет, а стоят три мужичка: дробные, ниже ее ростом, бородами по самые глаза поросли, а глаза — белые, белые, только зрачки угольками чернеют. Скумекала тут Настена, что это ее чужь белоглазая заманивает, хочет своему богу Кузе в жены отдать. Дернулась прочь, да куда: сзади ей руки-ноги обхватили, повалили наземь, на голову мешок или что другое нахлобучили; она девок на помощь звать, да сквозь мешок не больно покричишь, а за смехом девичьим и песнями купальскими те, видно, не услышали, а тут ей рот зажали и уволокли в лес. Тащили долго, она все брыкалась, норовила вырваться, убежать, тогда похитители сделали остановку, всю ее с головы до пят лыками обвязали и дальше понесли.

Очнулась она в какой-то каморе без окон, вроде чулана; лежит она, развязанная уже, на свежей соломе, вдоль стен — не то каменных, не то глинобитных, не разобрать — толстые сальные свечи горят, будто в храме на двенадцатый праздник, а супротив нее, у самого изголовья, на корточках, по-татарски, сидит дед: страшный, желтый, тощеватый такой, но без бороды — лицо скобленое, а на глазах стеклышки, «как у фершала», только синие. И принялся тот желтый дед ее уговаривать да начинать, чтобы вела себя послушно, делала все, что ей велят, и тогда-де будет ей счастье великое: примет ее бог Кузя в законные жены, и станет она как сыр в масле кататься — в золоте ходить, в руках серебро носить — ни в чем отказа иметь не будет. Ну а ежели супротивиться или того хуже — бежать удумает, то вовек уж белого света не увидит. И ставит перед ней липовую плоску, по виду с кашей, только вроде как с грибами, и строго так велит: «Ешь! Кузя до тощих девок не охотник». Настя не посмела перечить и поела той каши. А как поела, разморило ее шибко и на сон потянуло. Долго ли спала, коротко ли, она не знает, только как очи размежила, видит, старуха над нею склонилась — чистая Яга! Горбатая, простоволосая, лохмы седые до пула висят, нос в подбородок упирается, а изо рта три зуба щерятся. Проскрипела та карга что-то не по-нашему и ткнула узловатым пальцем в большую бадью с водой, которую, видно, пока Настя спала в камору притащили, и руками эдак показывает, дескать, полезай мыться. Девка поначалу головой крутила, но ведьма как зашипит на нее, точно кошка бешеная, Настасья, делать нечего, скинула с себя сарафан и залезла в бадью.

Ведьма сама ее помыла жестким мочалом, выскоблила ровно чугунок, едва кожу не ободрала. Настасья, ничего, вытерпела и это, напугана была шибко. После мытья старуха забрала ее сарафан, кинув взамен дерюжку, чтобы наготу прикрыть, и принесла ей снова плошку с грибной кашей, а сама скрылась в узкой дыре, что зияла в стене узилища этого, и в которую только в три погибели согнувшись можно было залезть. Тут уж девка смекнула, что каша та сонная и не стала ее есть — вывалила на пол да соломой прикрыла.

Через несколько времени после слышит — шаги; не будь дурой, притворилась она спящей, а сама поглядывает из-под ресниц. Заходят трое: давешний желтый старик со стекляшками, а с ним двое белоглазых, лядашие, ровно сморчки лесные; встали над нею и давай что-то на своем тарабарском наречии балакать. Желтый старик на нее показал и говорит: «нейжне», а те давай причмокивать: «чема, чема, чема». Потом сдернули с нее дерюжку и принялись всю ее ощупывать, как кобылу на ярмарке. Настасья и это стерпела, хоть и жутко и срамотно ей то было. Желтый дед запалил пук каких-то сухих духовитых трав и обкурил им спящую. От запаха тех трав — тяжелого да горького — Настена едва снова не впала в забытье. Наконец чудь ушла, девка же, выждав сколько-то, вскочила, намотала на себя кое-как дерюгу вместо сарафана, лыками для крепости обвязалась да и полезла в стенную дыру. За ней обнаружился лаз вроде норы, по которому двигаться можно было лишь на четвереньках. Долго она по нему ползла, коротко ли, девка не запомнила, только постепенно проход стал расширяться, и вот уже она смогла встать и идти в полный рост.

Вдруг слышит девка впереди глухие ритмичные удары, будто кто в полу колоду тукает, а потом и голоса различила. Голоса те пели что-то не по-нашему, то стихая, то поднимаясь до визга, как на хлыстовских радениях. Настя было затаилась, хотела уже назад повернуть, да прислушалась: вроде пение не приближается, и решила — крадучись двинулась далее. Голоса поющих меж тем становились все громче, явственнее; а потом Настасья увидела впереди свет, только не дневной, а будто сплохи от костра по стенам пляшут.

Пройдя еще сколько-то, увидела девка, что лаз уходит дальше на подъем, но в его правой стене зияет отнорок, уводящий вглубь. Из этого-то отнорка и идет свечение и голоса слышны. Заглянула она в ту дыру и видит: крутые ступеньки ведут вниз, в пещеру, а там — костры горят и чуди видимо-невидимо. С полста бородатых карлов с смоляными факелами в руках беснуются, поют непонятное, в самой же середке на высоком каменном топчане сидит голый мужик — огромный, ровно медведь, дородный, дебелый; тела его сплошь какими-то черными полосами да завитушками изрисованы, башка выскоблена, как яйцо, аж отсвечивает, рожа носатая да толстогубая от жира лоснится. В правой ручище у него кость белая, перед ним, промеж кривых ног, большой медный котел стоит, сверху вроде как кожей обтянутый; и лупит тот детина по котлу костью, как в бубен, а чудь в лад тем ударам подскакивает да подвывает.

Потом, смотрит Настасья, сквозь толпу чуди пробираются давешний старик в синих стекляшках и карга простоволосая, что ее в бадье купала, и волокут под руки бесчувственную нагую девицу, лишь веночек из болотных кувшинок у ней на голове, а на теле живого места нет: все исцарапано, в кровоподтеках и страшных укусах — как застарелых, так и свежих; местами прямо куски мяса выхвачены, словно ее свора голодных собак погрызла. Тут детина на ноги вскочил и принялся еще шибче по котлу лупить, а уд срамной у него, как у семенного быка перед случкой — дубина дубиной. Девка та голая очнулась и, увидав куда ее тащат, ну голосить дурным голосом; вдруг — откуда силы взялись — вырвалась, да наладилась прочь бежать. И вот только она лицом-то повернулась, Настасья враз признала в ней Агафью — старшую дочку старосты Пантелея, которая два года назад аккурат в эти же июньские дни сгинула, и про которую мир решил, что она от отцовской строгости с отходниками в город подалась. Од-

нако ж теперь далеко убежать ей не дали: шипками да шлепками погнала ее чудь обратно к той образине с бубном. А бугай отшвырнул прочь кость и как ухватит Агафью за волосы, наземь как швырнет, сам-от сверху на нее как кинется, и давай ее, горемычную, катать да валять по всей пещере.

Долго он так с нею тешился, Настасья же видела все это и, оцепенев от ужаса, даже и пикнуть боялась. Вдруг леший этот в горло девке, как волк лесной, вцепился и — ну грызть, ну грызть с урчанием утробным, аж кровь во все стороны брызнула! Та ногами эдак мелко-мелко задрыгала и обмякла. Тут он заревел, точно сохатый по осени, коленями грудь Агафье придавил и обеими ручищами хватъ ее за голову. А чудь еще более в раж вошла: скачут все, факелами машут и орут: «Рикта! Рикта! Рикта!». Бугай поднатужился да и оторвал девке башку, ровно куренку какому; потом за волосы голову вздернул, раскрутил да и метанул через всю пещеру прямо Настасье под ноги. Тут уж та не сдюжила — в крик и прочь бежать что есть мочи. А чудь, с воем да визгом истошным, следом.

Себя не помня, добежала Настя до выхода из той норы, наружу сунулась, а там, под ногами — склон едва не отвесный, вот она и замешкалась чуток. Обернулась проверить, далеко ли погоня, а прямо за спиной бугай этот разрисованный стоит, на нее уставился буркалами своими. Морда вся в крови агафьиной, взгляд тяжелый, мертвящий, как у аспиды, аж ноги у девки отнялись — хочет бежать, а шелохнуться не может. Подняла она кое-как руку, дабы крестное знаменье сотворить, он оскалится — зубищами клац — и скусил ей три пальца на правой длани напрочь, ровно стручки гороховые. Настасья от боли назад прынула и — кубарем под гору. Удивительно, как руки-ноги не переломала, пока с горы той катилась. Ну а потом двое или трое суток по чашам да болтом скиталась, покуда к людям не вышла. Чудом от чуди спаслась, не иначе. Ведь в лесу те инородцы, надо полагать, как дома себя чувствуют. Видно, Бог упас...

Вот такую историю поведали мне пристав Степан Звонов и сотский Ефим Турусов, а капитан-исправник со своей стороны дополнил некоторыми подробностями. Примерно тоже, только короче и сбивчивее, поскольку пребывала в жару и едва не бредила, после рассказала мне и сама Настасья Теляева.

Настоятель церкви Ильи Пророка отец Зосима в целях прояснения обстоятельств изложил нам историческую подоплеку нынешних событий, каковая свелась к следующей легенде: в стародавние времена, задолго до Иоана Грозного, жил-де в этих местах народ чудского племени. Были те инородцы закоснелыми идолопоклонниками и шла про них слава, как о чародеях и волхователях изрядных. Из-за белесых, почти прозрачных глазных радужек, прилепилось к этому племени прозвание «чудь-белоглазая». Когда же пришли сюда оседлые русские люди, не вынесла чудь соседства с православным христианством и всем скопом — с бабами и детишками, ушла под землю — в Чудь-гору, где обретается и поныне. И якобы молится эта чудь-белоглазая своему живому богу, именем Кунигаз, которого наш простой народ переименовал на свой манер, прозвав Кузей. А еще, рассказал Зосима, совсем недавно — каких-то полсотни лет назад, здесь в округе черемиса обитала. Несмотря на то, что числились черемисы воцерковленными и православными, однако ж, скорее, по форме. По правде же, как полагал отец Зосима, продолжали коснеть в язычестве. Как бы то ни было, немало их селений тут стояло, и вот эти-то черемисы, почитая себя данниками чуди, ежегодно в ночь на Ивана Купала приводили к подножию Чудь-горы девку своего племени и оставляли там на ночь, а белоглазые под покровом темноты из своих нор выходили и забирали уготованную жертву, как считалось, в жены подгорному богу. Но шло время, и постепенно поселения черемисов безлюддели (очень возможно, не последнюю роль в их оскудении сыграл как раз сей изуверский обычай), пока лет пятьдесят назад не опустели под корень. Долгое время после того все тихо да покойно было, как вдруг где-то лет двадцать тому назад стали из деревень Алешковской волости пропадать

молодые незамужние девицы. Хотя и не каждый год такое случалось, но всякий раз — накануне или вскоре после купальских гуляний, а частенько и в саму иванову ночь. Понятное дело, по деревьям в народе пошел слух, дескать, это чудь-белоглазая озорничает. Да только земство, как волостное, так и уездное, никаких мер на сей счет не принимало, почитая подобные слухи проявлением народного невежества. Про губернское начальство и говорить нечего. А еще по словам отца-настоятеля упомянутая Чудь-гора, в недрах которой те язычники вместе со своим живым богом схоронились, находится в заповедных чащах здешних алешковских лесов, и в погожие дни ее поросшую дремучими елями вершину даже и из Филино видать. Но ходить туда никто не ходит — боятся.

Однако же, как вы, Владимир Иванович, наверное догадываетесь, история этим не закончилась. Ведь земский исправник меня не для того за столько верст зазвал, чтобы я выслушивал старинные сказки. Надо было теперь решить, какие должно принять ввиду случившегося меры. Я предложил было, не мешкая, снарядить полицейскую экспедицию к той Чудь-горе и на месте удостовериться насколько соответствует истине древнее предание, а равно есть ли правда в рассказе самой Настасьи Теляевой. Но пристав с сотским в один голос убедили меня, что сей прожект не исполним, поскольку-де гора та велика и обширна, дбьями лесными покрыта и целого полка солдат не хватит, чтобы всю ее обшарить, даже если до осени искать станем. Стоит отметить, что сотский Ефим вообще настроен был весьма скептически и остальных призывал не верить Настасье на слово, дескать, та «колокол льет» и следовало бы ее «примерно наказать и вся недолга». Впрочем пристав Звонов быстро его пресек, заметив, что сотский клепает на девку со зла, потому как затаил на нее личную обиду, и Ефим тут же стушевался.

Что ж, принялись мы наново судить да рядить, как вдруг Степан Звонов по столу рукой хлопнул и говорит: «На живца, ваши высокобродия, ловить надобно!» В ответ на наше общее недоумение, пристав предложил следующий хитроумный план. «Помнишь, Ефим, — обращаясь к сотскому, начал он, — как два года назад, аккуратно перед самой пропажей старостиной дочки, случай был с девкой Акулькой, ну рыжая которая?» «Это на Аграфену Купальницу-то? Когда бабы на закате из бани возвращались? Помню, как не помнить, — отвечал Ефим Турусов. — Так ить она не пропадала. Так, напужалась только». «Это верно, — кивнул Звонов. — А после рассказала, что когда ломала в березняке банные веники, поотстав маленько от остальных, видит, в оrehовом кусте бородатый мужичок-недомерок сидит — страшный, белоглазый, а потом, глядь, еще двое таких из-за пня вылезли и к ней подбираются. Обомлела она со страху, да тут на ее счастье бабы вернулись и белоглазые сгнули, как как в воду канули». «Мирские пересуды, — пожал плечами Турусов. — Бабы они завсегда так: на супрядках аль у колодца зачнут языками молоть... Что их слушать?» «Рассудлив ты, Ефимка, не по годам, — заметил пристав. — Заладил одно, как сорока Якова. А я вот про что: после того случая девки поостереглись и не пошли ночью, как заведено, костры жечь и в Вексе купаться, а потому Иван Купала без потерь минул. Да только все одно, через четверо суток, в ночь на Петров день пропала Агафья, филинского старосты Пантелея дочь. Я к тому веду, что раз Настене удалось из Чудь-горы сбежать, белоглазые наверно станут пробовать ей замену найти, видать не может их бог долго без бабы обходиться. Вот и следует нам подсунуть чуди новую невесту. Отведем ее в лес, поближе к Чудь-горе, а сами в засаду сядем. Так и накроем этих изуверов». «Кто ж из деревенских решится на такое? — усомнился исправник. — И вправе ли мы рисковать невинной жизнью?» «Никакого особенного риска, ваше высокобродие, — заверил пристав. — Ефим у нас опытный охотник, на медведя не раз хаживал, и я ружьишком балуюсь, а про вас и говорить нечего. А решится кто? Да, вон, хоть та же Дунька Тараканова! Она за мзду малую хоть к черту в пекло согласная». «Тараканиха? — ухмыльнулся

Ефим. — Из Чурилова которая? Да, эта может. И горевать, если дело не сладится, по ней некому: ни сродников, ни свойственников — сирота. Только польстится ли кто на эдакую, больно рылом погана».

Опуская дальнейшие споры-разговоры, скажу сразу: после долгих обсуждений и сомнений, все, кроме разве отца Зосимы, который, ввиду позднего времени, покинул нас раньше, сошлись на том, что лучшего варианта, нежели предложенный приставом Звоновым, нам не придумать. И уже на следующий день вся наша компания: ваш покорный слуга (разумеется, я настоял на своем участии в сей авантюрной экспедиции), исправник Кокорин Иван Андреевич, становой пристав Степан Звонов и сотский Ефим Турусов, пробиравась по лесу в направлении пресловутой Чудь-горы. Впереди, на изрядном от нас удалении, но в пределах видимости, шествовала упомянутая Дуня Тараканова — рябая, неуклюжая, как ступа, зато здоровенная девка, которая действительно без особенного труда позволила себя уговорить за пять рублей серебром. Сотский с приставом были при ружьях, мне исправник выдал однозарядный пехотный пистолет старого образца, сам же вооружился шестизарядным французским револьвером Лефорше. «Трофейный, с Крымской войны», — пояснил он.

Когда мы вышли к подножию Чудь-горы, стало смеркаться, и все согласно постановили дальше сегодня не ходить, а обустроить засаду здесь. Развели на небольшой луговине костер, а Дуньке велели у огня сидеть да песни петь, чтобы ее издали слышать было. Пристав дал ей фляжку с водкой — для сугреву и для смелости, а мы соорудили себе по обе стороны от той полянки шалашики, укрыли их еловыми лапами и в них схоронились. В одном я с сотским затаился, а в другом — исправник с приставом. Лежим, ждем. А Дуня из фляжки отхлебывает да знай себе поет про свое, про девицье:

Сахаринка на полу,
Не ленива — подниму.
Сахар съела, песню спела,
Целовать дружка хотела.
Дударь, мой дударь молодой,
Самодударь мой, дударь молодой.
Ты играй, играй, дударик на дуду,
Я, младешенька, плясать пойду.

Я, чтобы как-то скоротать время, тихонько перешептывался с Ефимом и, между прочим, высказал сомнение в успешности нашего предприятия, которое все более и более представлялось мне чистой аферой, заметив также, что на «невесту» нашу разве медведь позарится. «Как знать, вашбродь, — пожал широким плечом сотский, — как знать. Предыдущая-то, Агафья Пантелеева, тожа не принцесса была — левый глаз слепой, бельмастый, да и хроменькая... Ей ведь двадцать пятый годок шел — перестарок, никто сватать не хотел. А высидеть мы здесь ничего не высидим, в этом я с вами согласен. Бабы сказки все это, про чудь-белоглазую, про бога Кузю. Я так себе разумею: с полюбовником Настька сбежала, из соседней деревни, али с купчиком каким заезжим, да что-то у них, видно, не заладилось. Может, прибил он ее и прогнал от себя, вот она и блажит». Между тем Дуня затянула печальную, с причитаниями песню:

Нерамно жа муж достанется —
Ой, либо вор да горький пьяница,
Либо старый пес удушливой,
Да либо ровнюшка да недружливой

Уж я старого да утешила бы,
Среди полюшка ой повесила бы
Да на тонкую-то осинушку,
Да я на самую-то вершинушку,
Вот вершинушка ой да качается,
Да мой старый пес болтается.

Уже настал вечер, высота небесная потускла, и заискрились на ней бледные звездочки, но Луны видно не было. Теплый воздух наполнили благовонные запахи ночных трав, в небе то и дело вспыхивали зарницы. «Курить страсть охота, — прихлопнув на шею комара, вздохнул Ефим, — да нельзя, Иван Андреич заругает». Я попросил сотского рассказать мне о всех прошлых случаях подозрительных исчезновений окрестных девок. К слову, Владимир Иванович, народный говор в Чухломском уезде отличается значительным своеобразием. Если в прочих местностях Костромской губернии, со всех сторон окружающих чухломские земли, окают, то здесь произношение московское, на «а», и аканье выражено даже явственнее, резче, нежели в Первопрестольной. Пока мы так шептались, у нашей фальшивой невесты, вероятно, под влиянием содержимого фляжки, настроение изменилось. Задорно гикнув, она запела:

Пошла Катенька горошек молотить,
Ее некому за ой-ой-ой схватить,
Вот нашелся парень бравый, молодой,
Привалил ее к овину головой.
Заголяет он пестринный сарафан,
Вынимает кукареку с волосам...

«Ух, заторная девка, — усмехнулся в усы сотский. Но вскоре обеспокоился: — Чего она песню-то оборвала?.. Сползать, разве, вашбродь, посмотреть?». Однако раздавшийся следом шум, треск и придушенный дунькин крик заставили нас всех вскочить на ноги. Кинулись мы к костру, глядим, у нашей Дуни на плечах повисли два мужика — в вывернутых мохнатых тулупах, мелкорослые, лохматые — чисто лешаки, а третий такой же — ей на голову мешок нахлобучил и уже вокруг шеи веревку вяжет. «Не стрелять! — крикнул исправник. — Девку зацепите!» Тут Тараканиха поднатужилась, поднапружилась, на ноги поднялась да обоих поганцев с себя стряхнула, ровно котят, а тому, что ее веревкой вязал, так поддала коленом в грудь, что он улетел прямоком в костер. Разом потемнело — не разберешь, где кто. «Хватай, вяжи нехристей! — вновь scomандовал исправник. — Уйти не дай пога...». Не договорив, он с руганью схватился за колено и рухнул наземь. А в следующий миг в нас со всех сторон полетели увесистые бульжники. Один из камней просвистел у самого моего виска. Я упал в траву, но успел разглядеть между окружавших поляну деревьев смутные невысокие фигурки, которые, раскручивая что-то над головой, метали в нас камни. Подняв пистолет, я выстрелил в одного из них, но, кажется, и близко не задел. Остальные тоже принялись палить в сторону леса, но фигурки врагов то появлялись, то исчезали во мраке, так что стрельба велась наугад, почти вслепую. Тем временем целая толпа лесных жителей накинута на Дуню. Облепив девку, как мураши гусеницу, они повалили ее и стремительно уволокли в чащу, покрывавшую Чудь-гору до самой макушки. Обстрел тут же прекратился.

Осторожно поднявшись на ноги, я осмотрел поле битвы: исправник сидел, держась за разбитое колено, а пристав Звонов, опершись о ружье, смотрел куда-то вниз и сокрушенно охал. Было ясно, что наша засадная экспедиция окончилась полным фиаско.

«Где Ефим?» — спросил исправник. «Здесь он, — ответил пристав. — Кажись, кончатся». Я помог Иван Андреевичу подняться, и он с моей помощью кое-как допрыгал до пристава. У его ног мы увидели сотского; он лежал с окровавленной, похоже, проломленной головой и был без сознания. Пристав склонился к нему, прислушался: дышит. «Девку надо идти спасать, пропадет, — заявил исправник. — Только как быть с Ефимом?» «Куда вам, ваше высокобродие, идти, — возразил пристав. — Я эту кашу заварил, мне и расхлебывать, а вы тут Ефима постерегите». Иван Андреевич поначалу заартачился, но я решительно поддержал Степана, заметив, что надо спешить, а исправник с его разбитым коленом будет нам лишь в обузу. Как человек трезвомыслящий, тот вынужден был согласиться и отдал мне свой револьвер, сам же взял ружье сотского.

Пристав обмотал палку берестой и соорудил себе факел, я же получил от исправника масляный фонарь со стеклянной, предохраняющей от ветра, колбой, который тот с военной предусмотрительностью захватил с собой. Снарядившись таким образом, мы отправились в погоню, благо, земля сохранила явственные следы волочения дородного дунькиного тела, а тут еще Луна взошла нам в помощь. Однако не прошли мы и ста сажений, как след оборвался. Шарили мы со Степаном, шарили — все без толку: нигде ни единой веточки не поломано, а под ногами — толстый слой нетронутой хвои. «Чертовщина, — ворчал пристав, — не сквозь землю же они провалились?» Тут-то меня и осенило: именно что под землю! Воротились мы к тому месту, где след обрывался, и стали тщательно все вокруг обыскивать. «Нашел!», — через несколько времени крикнул Степан, обнаружив под корнями кряжистого тысячетлетнего дуба квадратный лаз, надежно скрытый зарослями папоротника и уводящий куда-то в непроглядную тьму, в недра Чудь-горы. Я полез первым, Звонов Степан — следом.

Стены лаза были укреплены бревнами, поддерживающими бревенчатый же настил. Высота его составляла не более полутора аршин, поэтому двигаться пришлось по-собачьи, на четвереньках. Факел Степана потух, да в столь узком проходе он бы только мешал, и путь нам освещал лишь тусклый свет масляной лампы. Сколь долго мы так ползли, не знаю, мне тогда показалось, что целую вечность и я уж, грешным делом, стал подумывать не поворотить ли назад, как вдруг впереди забрезжил свет. Я задул фонарь и сделал знак Степану, чтобы не шумел. Лаз вывел нас в галерею, по которой можно было уже идти в рост, хотя и пригнув голову. Через каждые пять-шесть сажений в выложенных из необработанных камней стенах крепились глиняные плитки, заполненные неким жиром с плавающими в нем горящими фитильками. Где-то через версту мы очутились перед развилкой: левый проход был освещен, правый же уводил в чернильную тьму. Мы прислушались: слева явственно доносились голоса и глухие ритмичные удары, и мы свернули туда.

Шагов через полста галерея уперлась в стену, в которой зияла расщелина; из нее-то и слышались голоса и удары. Протиснувшись в щель, мы очутились в обширной пещере, и нашим глазам открылась следующая поразительная картина. Под сводами пещеры, по всей ее окружности, на равном удалении были проделаны отверстия, через одно из которых мы и проникли внутрь; от тех проходов крутым уступом шли ступени, спускавшиеся к овальной площадке, вроде арены, как в античном амфитеатре. Всю арену и часть ступеней заполняла возбужденная толпа чуди — мужчины, женщины и даже дети; многие держали в руках смоляные факелы. В центре арены на каменном возвышении восседал жирный толстопузый урод — натуральное чудовище: исполинского роста, лысый, голый, разукрашенный по телу черными рисунками, как это делают американские индейцы и некоторые наши сибирские инородцы. Глубоко запавшие глаза его, под тяжелыми, как кузнечные оковалки, надбровными дугами, казались парой черных угольков, источавших некое темное свечение. Кошмарный облик дополняли мощные выступающие челюсти при совершенном отсутствии подбо-

родка. «Полно, да человек ли это?» — невольно усомнился я. В левой руке он держал белую кость, весьма походившую на берцовую человеческую, и равномерно колотил ею в стоящий перед ним медный чан, а окружавшая своего живого бога паства, помавала факелами и речитативно, с подвываниями пела: «Кунигазс! Кунигазс! Мейде Кунигазс, сьонд Кунигазс! Кунигазс-мадо!».

А у подножия каменного возвышения лицом вниз лежала наша Дуня. Одежда с нее была сорвана, руки связаны за спиной; спину и бедра испещряли кровавые царапины и укусы; она не шевелилась. Неужто, мы опоздали и беззаконная жертва уже принесена? Я, честно признаться, совершенно растерялся, что делать далее, как поступить. Выстрелить в чудище? Но в моем револьвере оставалось четыре патрона... Даже помятуя о ружье пристава, что это против целой толпы чуди? Они же нас просто растерзают! Однако, пока я так мучился сомнениями, Степан, не долго думая, вскинул ружье да и выпалил в чудского бога. Под сводами что-то заворчал, точно в ненастный день перед громовым раскатом, и сверху дождем посыпались мелкие камешки. Когда пороховой дым рассеялся, стало видно, что примолкшая чудь оборотилась и вся смотрит на нас, а по груди восседавшего на каменном троне чудовища сбегает алая струйка крови. Но вот страхолюдный исполин медленно, как ни в чем не бывало, поднялся во весь рост и вперил горящий взор свой в Степана. А потом оскалился, поднял руку и молча указал ею на пристава. Не знаю, что послужило причиной дальнейшему: колдовская ли сила взгляда чудского божества или иное что, только пристав безвольно уронил ружье и как зачарованный пошел по ступеням вниз, прямо в лапы чудища. Я ухватил Степана за плечо, но тот, не оборачиваясь, вывернулся из моих рук и ускорил шаг. В совершенном отчаянии я послал две пули в треклятого Кузю, а потом дважды выстрелил вверх. Страшный грохот сотряс пещеру... И начался ад крошечный! Земля у меня под ногами содрогнулась, и огромные глыбы стали рушиться со сводов прямо на головы побежавших во все стороны людей чудского племени. Все заволочло густыми клубами, из которых доносились отчаянные вопли, звуки ударов, стоны. Я увидел, как каменный обломок размером с телегу рухнул и придавил собою чудского бога. В тот же миг, словно избавившись от наваждения, Степан Звонов пришел в себя, и мы вместе кинулись к Дуньке. Пристав разрезал ее путы, перевернул на спину и приложил ухо к груди: жива! Вдвоем мы подхватили бесчувственную девку под руки и, уворачиваясь от продолжавшегося камнепада, поволокли к выходу из подземелья. Бросив взгляд назад, я заметил торчащую из-под каменной глыбы руку чудовища — она была шестипалой... *(Далее в письме снова были густо вымараны два абзаца.)*

Не стану досаждать вам рассказом, как мы выбрались из Чудь-горы, как воротились в Филено — все это мало относится к сути моей истории. Скажу только, что сотский Ефим, нас не дождавшись, отдал Богу душу, а мы с приставом Звоновым и едва могущим передвигаться опершись нам на плечи капитан-исправником кое-как дотащили Дуню Тараканову до становой квартиры, препоручив там обоих доктору Колокольскому.

Само собой я отправил Александру Егоровичу Тимашеву подробный доклад о сем происшествии, да только ходу ему дадено не было. Сколь мне известно, доклад засекретили и упрятали в архив по личному настоянию обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода графа Дмитрия Андреевича Толстого. Последний, якобы, выразился в том роде, что мало нам сраму перед просвещенной Европой от всяких самосжигателей да скопцов, так тут еще хотят секту людоедов на суд мирской вытащить. Помимо того, огласка сего доклада может-де породить враждебность великороссов в отношении инородческого населения Российской Империи. Короче сказать, история была, как у нас водится, упрятана под сукно и забыта. Однако ж этим она не закончилась.

После тех событий уж год минул, а мне случившееся все не давало покоя, не отпускало. Летом сего года пришлось мне побывать в Ляхово — имении моей жены; оно верстах в восьми от Нижнего. Старый господский дом ныне в полном запустении, вот и решился я наново отстроить родовое гнездо. А там, в Ляхово, запала мне мысль съездить в Алешковскую волость, проведать станового пристава Звонова да разузнать у него, какие последствия имела наша прошлогодняя кампания. Я уж знал, что капитан-исправника Кокорина вскоре после того в отставку ушли (между прочим, колесо его срослось худо, он так и остался хромым. Вот ведь, согласитесь, каприз Фортуны — две войны прошел невредимым, а тут...), Степан же по-прежнему исполнял свои обязанности. Сказано — сделано.

К моей досаде, станового застать на месте не удалось — тот был в разъездах. Тогда решился я навестить несчастную Дуню Тараканову. По понятной причине, в ее отношении я чувствовал себя виноватым, хотя и не моя была то идея, сделать из нее подсадную утку. Дунька как и прежде жила в соседней деревне Чурилово, в покосившейся избенке у самого леса. Встретила она меня радушно, едва ли не как своего спасителя (хотя я того и не заслуживал) и рассказала, что дня через два после ее вызволения из чудского плена исправник с приставом организовали целый поход к Чудь-горе, однако ж пользы из того не вышло. Правда, нашли они ту поляну и даже тот самый дуб, под которым нам лаз открылся. Вот только лаз оказался накрепко забит глиной и камнями, будто его там от века не бывало. Пробовали мужики другие тайные проходы в Чудь-гору сыскать, да без толку — так ни с чем в Филино и воротились. «Как ты, Дуняша, сама-то живешь?» — поинтересовался я. «Да как, барин? — заметно поскучнев, ответила Дуня. — Ни девка, ни вдова, ни мужняя жена». Тут из кутного угла послышался детский плач. «Это что ж, дите у тебя? Мальчик или девочка?» — спрашиваю. «Сынок», — отвечает. Заглянул я за занавесь, а там в деревянной колыбельке и впрямь здоровенький такой карапуз. «Сколько ему?» — снова спрашиваю. «Четвертый месяц пошел». Мальчик, увидав мать, стал просить грудь, протягивая ручонки. И что-то мне неладно показалось... Присмотрелся внимательнее — с нами крестная сила! — левая ладошка младенца — о шести пальчиках...

Вот и вся история, дорогой Владимир Иванович. Согласитесь, из нее вышел бы замечательнейший рассказ, да кто решиться такое напечатать, даже если изменить все имена и самое место действия? Полагаю, никто и никогда. А сейчас меня терзает сомнение, стоит ли даже и сие письмо доверять бумаге и вам отправлять? Опасаюсь, не доставит ли оно вам какие неприятности? По здравому размышлению — не стоит.

Как бы то ни было, остаюсь вечно вам преданный А. П.

* * *

Дочитав рукопись до конца, я поначалу решил, что это и не письмо вовсе, а черновик неизвестного рассказа Печерского. Не случайно же Павел Иванович подписал его начальными буквами своего литературного псевдонима — «А. П.», то есть Андрей Печерский, а не настоящими инициалами... А если так, тогда вся история — плод писательской фантазии, и не более.

Однако, изучив вопрос глубже, я выяснил, что письма к Далю Мельников всегда подписывал своим литературным псевдонимом, потому как именно Владимир Иванович Даль этот псевдоним для него и придумал. И потом, зачем бы тогда автору использовать имена-фамилии реальных людей? Я проверил: все упомянутые в письме лица подлинны — от министра Тимашева до земского исправника Кокорина. Конечно, нельзя исключить, что Мельников-Печерский планировал впоследствии сделать из этой истории рассказ либо повесть... Впрочем, окончательное разрешение этого вопроса я оставляю за читателем.